

Текст в системе дискурсных взаимодействий

И.В. Силантьев

ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ СО РАН

I

Дискурс. Человеческое общение не хаотично. Оно организуется и оформляется по-разному в зависимости от участников, целей, предмета и ситуации общения, в зависимости от социальных норм и культурных традиций. Каждый из нас владеет своим репертуаром коммуникативных практик. Мы о разном и по-разному говорим и пишем (а также слушаем и читаем) в кругу родных и друзей, на работе, на улице, на официальных приемах, в театре, университете, церкви. Термин «дискурс» на языке современной гуманитарной науки и означает устойчивую, социально и культурно определенную традицию человеческого общения (см. фундаментальные обзоры лингвистических и культурологических концепций дискурса в работах [Чепкина 2000; Макаров 2003]). Духовная культура общества представляет собой ансамбль дискурсов, наделенных различными коммуникативными стратегиями. В многогранной реальности жизни, в ее разносторонних публичных и частных сферах мы являемся активными участниками различных и многих дискурсов – повседневного, официального, образовательного, научного, политического, публицистического, религиозного, эстетического и других.

Тело дискурса. Метафора тела здесь заимствована из языка программистов, которые говорят о «теле» алгоритма, взятом вне охватывающих его скобок различных служебных знаков и помет. Прямой и очевидный смысл этой метафоры здесь – это «то, из чего, собственно, состоит», или «то, что составляет» дискурс в нашей трактовке этого феномена. Данная смысловая формула, в свою очередь, развивает семантическое поле нашей метафоры: теперь в ней легко ощутить привкус аналитико-медицинских коннотаций: тело дискурса – для нас – не целостное и замкнутое для проникновения, а открытое для расклада частей, их исчисления, анализа и инвентаризации.

Итак: из чего непосредственно состоит дискурс? Ответ достаточно очевиден: тело дискурса – это открытое множество высказываний, как осуществ-

ленных в практике коммуникации, так и возможных, предсущественных (и в этом отношении наше понимание дискурса не противоречит известной формуле Ц. Тодорова о дискурсе как структуре «после языка, но до высказывания» [Тодоров 1983]) – однако высказываний не любых, а построенных в системе силовых линий социокультурного поля данного дискурса.

Высказывание. Всякий ответ содержит новый вопрос. Мы выдели слово высказывание курсивом, это обязывает к очередному определению. В рамках бахтинской трактовки высказывания [Бахтин 1979: 245-280] мы можем определить его как целостную единицу общения, характеризующуюся такими базовыми свойствами, как информационная, интенциональная и композиционная завершенность.

Универсальное качество информации очень точно (и адекватно общегуманитарной парадигме) определил В.И. Тюпа: «Информация есть явление локального изоморфизма взаимодействующих систем» [Тюпа 1996: 12]. При этом нужно иметь в виду, что информативно не только взаимодействие (или, для нас, дискурсивное соположение) двух формально внешних по отношению друг к другу моментов – информативно и соположение частей внутри целого, частей, которые это целое, охватывая их общими границами в дискурсе, вынуждает тем самым входить в отношения соположения. Это значит, что всякое высказывание обладает внутренним «локальным изоморфизмом» как минимум двух своих аспектов: в нем сочетаются и взаимодействуют – как представители «взаимодействующих систем» – тема и рема.

Для примера сравним три высказывания, развернутые в плане прямой и единственной интенции информирования:

«*Топор – это инструмент*». Здесь все в порядке: налицо неполный («локальный») изоморфизм темы и ремы; высказывание вполне информативно.

«*Топор – это топор*». Перед нами ситуация полного изоморфизма темы и ремы; высказывание неинформативно.

«*Топор – это кокетка*». Это ситуация полного отсутствия изоморфизма темы и ремы; высказывание также неинформативно (если только не принимать во внимание процедуру вынужденного «наведения (в том числе переносного, метафорического) смысла» воспринимающим сознанием – процедуру, которой сознание как бы защищается от нежелательной (неконструктивной в плане естественного поиска смысла) неинформативности).

Другой вектор коммуникативной завершенности высказывания определяется его интенциональностью. Интенциональная структура высказывания может рассматриваться в рамках достаточно сложной и многоуровневой модели, как, например, у П.Ф. Стросона [1986] (см. также обзор современного состояния проблемы интенциональности, составленный Т.Н. Ушаковой: [Слово в действии 2000: 28-39], а также: [Макаров 2003: 35-38]). Не углубляясь в общую теорию интенциональности, обозначим это понятие в его существенности для нашего текста: интенция – это коммуникативное намерение, или коммуникативная цель, которой сопровождается высказывание в общении [Арутюнов, Чеботарев 1993].

Интенций, сопровождающих высказывание, может быть несколько и много, и они могут быть разнохарактерные и разноуровневые по отношению друг к другу. Даже в достаточно простом, на первый взгляд, высказывании

«Извините, могу ли я поинтересоваться, что Вы читаете?», обращенным мужчиной симпатичной незнакомке, например, в салоне самолета, содержится ряд интенций, среди которых интенция прямой просьбы проинформировать занимает не самое важное место, а то и совсем ничего не значит. Обратное не работает: вне интенционального поля высказывание невозможно, оно тем самым теряет свой изначальный коммуникативный статус и превращается в абстрактно составленное предложение (ср. знаменитое букварное «Мама мыла раму»). Другое дело, что важно правильно определить собственные границы высказывания, которые, естественно, не совпадают с границами лингвистического предложения: то же самое «Мама мыла раму», будучи одним из составных моментов букваря как сложного жанрово организованного обучающего *высказывания-учебника*, попадает в общее интенциональное поле букваря и наделяется в нем подчиненной интенцией учебного примера.

Понятие интенции соотносимо с понятием коммуникативной стратегии, которое в настоящее время в разных аспектах разрабатывается в коммуникативной лингвистике [Янко 2001], риторике [Гойхман, Надеина 1997] и нарратологии [Тюпа 2002; Кузнецов 2002], см. также статью В.И. Тюпы в настоящем издании. Применительно к категории дискурса мы рассмотрим это понятие ниже, здесь же сформулируем завершающий тезис данного раздела: оба вектора коммуникативной завершенности высказывания – информативный и интенциональный – образуют его актуальный смысл.

Высказывание и текст. Неотъемлемым качеством высказывания как единицы общения является его коммуникативная актуальность, его локализация в зоне актуальности коммуникативной ситуации. При этом сама зона актуальности может быть предельно различной – от моментального «здесь и сейчас» в повседневном дискурсе до монументального (либо в своей наивности, либо в лживости) «всегда и везде» дискурсов, встроенных в высшие этажи духовной культуры.

Текст – это высказывание, проецированное (нередко при помощи какой-либо дополнительной системы обозначений и фиксации в иной, более устойчивой материальной среде) в рамки отложенной, отстоящей во времени или пространстве коммуникации, а значит, это высказывание, в котором его коммуникативная актуальность носит уже не столько наличный, сколько потенциальный характер. Иначе говоря, в тексте актуальность высказывания уходит в план его интенциональной структуры.

Таким образом, неправильна формальная точка зрения, сводящая феномен текста только к моменту фиксации высказывания на каком-либо материальном носителе (бумага, глина и т.п.) при помощи определенной системы обозначений (например, системы письма).

Высказывание и текст суть две стороны одного целого [Бахтин 1979: 282], но это две различно акцентированные стороны: высказывание коммуникативно актуально, текст – коммуникативно потенциален. Это значит, что высказывание неотделимо от своего текста в силу самого принципа своего осуществления. Особенно отчетливо это видно в пластическом искусстве: что в скульптуре высказывание и что его текст?

Другое дело, что высказывание, взятое в аспекте своей текстуальности, т.е. в своей обращенности к отложенной коммуникативной ситуации, может не

вписаться в нее, не воплотить свой потенциал в смысл, свою интенцию в актуальность. И тогда высказывание умрет, раз или навсегда, и текст станет его могилой и его памятником (это словечко, кстати, весьма характерно для традиции изучения древних культур и литератур – но именно потому, что в этих традициях имеют дело с мертвыми высказываниями и произведениями, мертвыми языками и дискурсами).

Существенным является вопрос об отношении текста к дискурсу. В принципе, это отношение опосредовано моментом высказывания (ср.: [Карасик 2000: 5]). Дискурс, как мы определяли выше, состоит из высказываний (это два первичных в своей природе коммуникативных феномена), и, вслед за высказыванием, продолжает себя и возобновляет себя в текстах. Следует только учитывать качественную меру этой закономерности: понятно, что дискурсы устной сферы общения (повседневный, многие тематические и многие профессиональные) опираются по большей части непосредственно на высказывания, которые мало нуждаются в текстах. Понятно и обратное: дискурсы письменной культуры просто неосуществимы вне текстуального начала, поскольку сами высказывания, образующие «тела» таких дискурсов, изначально рождаются в текстах.

Жанр. Рассмотрим отношение категории жанра к категориям высказывания, текста и дискурса.

По существу, жанр есть тип высказывания в рамках определенного дискурса. Если это так, то по каким параметрам высказывания группируются в жанры? Каковы, другими словами, их жанровые признаки?

Выделим две группы таких признаков: коммуникативные и текстуальные.

Коммуникативные признаки жанра охватывают интенциональное разно- и единообразие высказываний дискурса. Собственно говоря, именно по параметру коммуникативных интенций М.М. Бахтин выделял речевые жанры – первичные по отношению к другим в той мере, в какой повседневный дискурс первичен по отношению к дискурсам профессии и культуры. Соответственно, мы можем говорить о таких жанрах повседневного дискурса, как вопрос и ответ, приветствие и прощание, просьба и приказ, поздравление, сожаление и соболезнование, и т.д. Сами названия таких жанров суть не что иное, как базовые интенции, сопровождающие высказывания в рамках данных жанровых групп.

Вслед за П.Ф. Стросоном [1986], в коммуникативном аспекте жанра можно различать собственно интенциональную и конвенциональную составляющую. Например, лекция как жанр университетского образовательного дискурса интенциональна постольку, поскольку направлена на передачу фиксированного в определенных дисциплинарных рамках знания обучающимся в учебном заведении. При этом данный жанр конвенционален постольку, поскольку в рамках описанной выше интенции предполагает от участников дискурса определенное коммуникативное поведение: преподаватель должен излагать некое новое знание, а студенты должны внимать преподавателю, при этом студенты могут задавать вопросы по теме лекции, на которые преподаватель обязан давать достаточно определенные ответы в рамках данной темы и учеб-

ного предмета в целом. Конвенциональная сторона жанров в рамках дискурса тесно связана с феноменом дискурсных ролей, о которых будет сказано ниже.

Текстуальные признаки жанра характеризуют высказывание в плане структурности/композиционности его текста. Данные признаки малосущественны для элементарных речевых жанров (первичных, как их называл М.М. Бахтин [1979: 239]) – их текстуальная структурность во многом сводится к лингвистической структурности (преимущественно синтаксической, но не только). В самом деле, структурные различия между вопросом и ответом лежат в сфере языкового интонирования и, частично, в сфере порядка слов и собственно лексико-грамматического оформления высказывания. Гораздо большее, если не определяющее значение структура текста имеет для жанров, соотношенных с дискурсами высшего порядка, или для «вторичных» жанров, по М.М. Бахтину. Это положение достаточно очевидно – как очевидны структурные различия в текстах, положим, коммерческого договора и делового письма.

Кстати говоря, и интенциональная структура вторичных жанров несравнимо сложнее и иерархичнее коммуникативных интенций первичных жанров. К примеру, каковы интенции романа как жанра в рамках художественно-литературного дискурса? Каков, прежде всего, общий коммуникативный статус романских интенций? Очевидно, что интенциональность романа в целом расположена в поле эстетической коммуникации, и собственные, присущие жанру интенции романа отвечают общим и частным целям (стратегиям) эстетического дискурса. Здесь мы переходим к вопросу о соотношении жанра и дискурса, в ходе рассмотрения которого ответим и на частный вопрос об интенциональном характере романа.

Жанр и дискурс. В принципе, дискурс как таковой идентифицируется в общем коммуникативном поле культуры и социальной деятельности постольку, поскольку реализует свою особенную, ему свойственную коммуникативную стратегию, – некую общую и в то же время специализированную коммуникативную цель и соответствующие ей дискурсные средства. Так, применительно к повседневному дискурсу можно говорить о коммуникативной стратегии обыденного единения людей посредством разнообразных форм прямого обмена текущей информацией, фатических коммуникативных актов и др. Применительно к образовательному дискурсу можно говорить о специфической коммуникативной стратегии обучения и обмена опытом и знаниями, что реализуется в различных дискурсных формах лекции, семинара, зачета, экзамена и др. (в варианте университетского дискурса).

Можно заметить, что мы в характеристике коммуникативной стратегии дискурса фактически пришли к терминологическому удвоению понятия жанра и дискурсной формы. Это, действительно, одно и то же, и далее мы будем преимущественно пользоваться привычным термином «жанр». Важно другое: коммуникативная стратегия дискурса выступает доминантой, своего рода «гипер-интенцией» по отношению к интенциональным характеристикам жанров (напомним, типов высказываний), составляющих целое дискурса. Так, основная интенция лекции – прямая передача преподавателем нового знания студентам, основная интенция семинара – обмен мнениями и подготовленными сужениями студентов и преподавателя, основная интенция публичной защиты

курсовой работы – выполнение квалификационного задания и демонстрация студентом уровня владения навыками научной дискуссии. Нетрудно видеть, что все названные интенции – жанровые, по своему существу, – укладываются в единое целое коммуникативной стратегии дискурса образования как такового.

Вернемся к эстетическому дискурсу, и, в частности, к дискурсу художественной литературы.

Литературное произведение – как полноценное высказывание в составе эстетического дискурса – сообщает читателю героя как персонифицированное ценностно-смысловое целое, отвечающее определенным граням эстетической парадигмы эпохи (мы намеренно уходим от традиционного словечка *изображает*, поскольку изобразительная способность литературы далеко не очевидна). В повествовательной литературе герой сообщается через инстанцию персонажа, явленного, в свою очередь, через фабульно-сюжетный континуум нарратива. Роман как один из типов (многих и разных) литературных произведений (эстетических высказываний) являет нам своего, особенного героя, ценностно-смысловая формула которого – частный человек, становящийся в целом своей жизни, понятой в силу этого как его судьба.

Дискурсные роли. До сих пор в характеристиках высказывания и дискурса мы не касались субъектов того и другого. Этот вопрос слишком сложный и неоднозначный: кто собственно и в рамках какой инстанции высказывается и в целом участвует в дискурсе. С другой стороны, достаточно однозначно можно выделить спектр дискурсных ролей, которые говорящий (пишущий и т.д.), с одной стороны, и слушающий (читающий и т.д.), с другой стороны, принимают в пространстве дискурса.

В самом деле, кто не ловил себя на том, что в ситуациях обыденного общения, даже с самыми близкими людьми, мы радуемся или обижаемся, спрашиваем о делах и здоровье, или говорим, наконец, о погоде, не только и не столько потому, что нам это нужно, сколько потому, что этого требует дискурс. Мы не в силах выйти из властного поля дискурса, но нам этого и не нужно. Достаточно посмотреть на публичное поведение политиков различных мастей – в своей скованности правилами дискурса они напоминают средневековых рыцарей в тяжелых и неудобных латах (при этом раскрепощенные маргиналы только подчеркивают своим речевым шутовством власть дискурса – но это особая и крайне интересная тема).

Попробуем для примера перечислить дискурсные роли субъектов образовательного дискурса в его университетской реализации. Преподаватели: *всезнающий, готовый ответить на все вопросы и обо всем рассказать* (это очень трудная роль, предполагающая либо действительно сверх-эрудированного специалиста, либо индивида самоуверенного и неуважающего студентов), *ищущий внимания со стороны студентов* (что подкупает, но и растормаживает последних), *добрый и ищущий вместе со студентами «истину»* (что чаще всего бывает неправдой). Любопытно – но характерно для ролевой структуры дискурса – субъект может менять дискурсные роли, выходя за рамки определенного жанра. Тот же добрый и ищущий вместе со студентами «истину» преподаватель на экзамене вполне может превратиться в *«цербера»* (это тоже дискурсная роль). Студенты: *«ботаник», сидящий на первом ряду и все записыва-*

вающий; непричесанный «гений», ничего не пишущий, но задающий тонкие вопросы; некто, живущий какой-то совсем другой жизнью, не имеющей отношения к предмету курса, и др. (у студентов ролей больше, и при этом они частично дифференцированы в гендерном плане).

Большой интерес представляют собой дискурсные роли в журналистском дискурсе, в котором они, как правило, теснейшим образом переплетаются с профессиональным и личностным целым журналиста. Особенно очевидна эта связь в жанрах тележурналистики. Например, с жанром аналитической передачи соотнесены такие дискурсные роли ведущего, как *эксперт* (либо отстраненный и только констатирующий факты, либо берущий право судить и выносить суждения и оценки – второе, кстати, больше нравится отечественному телезрителю), *резонер*, *иронист*, *критик* (в том числе критик добрый и критик злой – что тоже нравится больше). Возможны и приветствуются в этой сфере и полностью творческие решения – такова, в частности, дискурсная роль «*остранителя*» (прямо по Б.В. Шкловскому – рассказывать и комментировать так, чтобы читатель воспринял событие остраненно), которую разрабатывает пока еще модный Леонид Парфенов.

Близкое к дискурсной роли понятие формулирует М.Л. Макаров, говоря о коммуникативных ролях как «более или менее стереотипных способах поведения и взаимодействия в рекуррентных ситуациях общения» [Макаров 2003: 217], однако это понятие задается исследователем не через начало собственно дискурса, а через антропоцентрическое начало «языковой личности» [Там же]. В принципе, связь определенного репертуара дискурсных ролей и языковой личности коммуниканта действительно становится значимой в публичных по своему характеру дискурсах (как мы это видим на примере дискурса журналистики).

В.И. Карасик также говорит о «статусно-ролевых и ситуационно-коммуникативных амплуа» дискурса [Карасик 2000: 11]. Однако исследователь усматривает наличие таких «амплуа» только в институциональных дискурсах, мы же – и в «персональных», если пользоваться его терминологией (о дихотомии «институционального» и «персонального» в типологии дискурсов см. в следующем разделе).

Как можно было видеть, дискурсные роли достаточно очевидно соотносимы с жанровой системой дискурса, во всяком случае, реализуются они в рамках того или иного определенного жанра, и испытывают тяготение к интенциональной стороне этого жанра.

При этом было бы неправильным сводить дискурсные роли к разновидностям поведения индивида в психологическом смысле этого слова: это именно роли в пределах дискурса, и один и тот же человек может выступать в рамках одного и того же дискурса (например, дружеского общения) раскрепощенным эксцентриком и заводилой, а в рамках другого дискурса (например, бюрократического) – строгим и закрытым формалистом и буквоедом. То же справедливо и в рамках одного дискурса: всем знакома своеобразная (и многообразная) семейная «риторика», в рамках которой дискурсные роли мужа и жены могут существенно меняться в зависимости от времени суток: одно дело вечером, перед тем как ложиться в постель, и совсем другое – утром за завтраком.

В соответствии с этим делением, вечером быть занудой – прерогатива дамской стороны, утром – скорее мужской.

Дискурсные роли соотносимы и с явлением, описанным Л. Витгенштейном и названным им «языковыми играми». Языковые игры Л. Витгенштейна иногда [Руднев 2000: 16] сближают с речевыми жанрами М.М. Бахтина. Однако, если судить по некоторым из примеров, которые приводит сам Л. Витгенштейн в «Философских исследованиях», языковые игры оказываются существенно шире явления речевых жанров и жанров вообще, если понимать последние типы высказываний в рамках определенного дискурса. В самом деле, что такое с точки зрения жанра «размышлять о событии», или «острить, рассказывать забавные истории», или «переводить с одного языка на другой» [Витгенштейн, 1994 (Философские исследования, 23)]? Предложим иную трактовку отношения языковой игры и речевого жанра – через понятие дискурсной роли. Языковая игра – это устойчивая связь жанровых практик и дискурсных ролей как двух взаимодействующих, но и достаточно независимых начал дискурса, или точнее: это проникающая сквозь жанровые практики траектория субъекта, облеченного в определенную дискурсную роль.

Первичная типология дискурсов. В качестве отправной точки в наших рассуждениях примем дихотомию персонального и институционального дискурса, предложенную В.И. Карасиком: «С позиций социолингвистики можно выделить два основных типа дискурса: персональный (личностно-ориентированный) и институциональный. В первом случае говорящий выступает как личность во всем богатстве своего внутреннего мира, во втором случае – как представитель определенного социального института» [Карасик 2000: 6]. Исследователь, тем не менее, подчеркивает, что определенные группы дискурсов не вписываются в рамки предложенной дихотомии: «Выделение персонального и институционального типов дискурса ставит перед исследователями много вопросов. Дискуссионным, например, является вопрос о том, к какому типу дискурса относится общение в стихийно складывающихся группах: пассажиры в купе поезда, покупатели в очереди, граждане, стоящие в толпе перед посольством за получением визы и т.д. Эти виды дискурса не являются персональными и по определению не относятся к институциональному общению» [Карасик 2000: 17].

Отталкиваясь от обозначенной исследователем проблемы, введем последовательно ряд конститутивных признаков дискурса – скорее достаточных, нежели необходимых.

Первый конститутивный признак – это признак *темы* (в иной трактовке вместо *темы* говорят о *концепте* [Демьянков 2002]). Тематическое начало выступает одним из первичных оснований для образования дискурса и поддержания его относительной стабильности. Тема может становиться доминантой дискурса и тем самым дифференцировать его – такие дискурсы, как правило, носят временный или периодически возобновляющийся характер, в зависимости от характера и продолжительности интереса к данной теме в сообществе, осуществляющем данный дискурс. Всякое чрезвычайное происшествие и всякая сенсация порождают временный тематический дискурс (катастрофы, теракты, общественные потрясения, с одной стороны, и смерти, преступления, измены, экстравагантные поступки, с другой стороны), всякая большая, зна-

чимая или, как говорят, «большая» тема является основанием для периодически возобновляющегося дискурса (демократические преобразования, коррупция властей, языковая, культурная и национальная политика, проблемы образования и здравоохранения, и т.д.).

Специфика тематического дискурса такова, что он – как устойчивое говорение/письмо на определенную тему (или вокруг определенного концепта) – реализуется, как правило, в рамках других дискурсов, носящих более универсальный характер своей тематической структуры. Таким образом, тематический дискурс выступает как субдискурс других дискурсов.

Каковы эти дискурсы? Введем второй конститутивный признак – признак общности участников коммуникативной практики, поддерживающей дискурс. Это может быть общность интерперсонального характера (семья, дружеская компания, влюбленная парочка, случайное знакомство и т.д.), общность ситуации (это те самые проблемные дискурсы «пассажиры в купе поезда», «покупателей в очереди», а также, в самом широком спектре ситуаций, дискурс прохожих на улице и т.н. «общественных местах»), общность той или иной субкультуры (городская молодежь на «тусовке» или дискотеке, болельщики на футбольном матче, байкеры, толкиенисты, антиглобалисты, коллекционеры, автолюбители, а также представители различных «профессиональных цехов» – мы специально смешиваем возможные иерархии культур и субкультур, чтобы показать единство этого критерия для конституирования дискурса). Это может быть и институциональная общность людей, причастных в различных заданных позициях к одному и тому же социальному институту (см. выше определение В.И. Карасика). Наконец, различные типы дискурсных общностей могут совмещаться: интерперсональные дискурсы могут развиваться в среде институциональных (например, в форме дружеских отношений коллег или по классической схеме «служебного романа»), институциональные дискурсы могут обрести субкультурными признаками (чаще всего профессиональными) и соответствующей дискурсной динамикой, сами же субкультурные дискурсы, как правило, реализуются во множестве устойчивых ситуаций.

Пожалуй, наиболее универсальным дискурсом с точки зрения критерия общности выступает повседневный, или, как его еще называют, обиходный дискурс. Повседневный дискурс, как губка, втягивает в себя тематически ориентированные дискурсы, поддерживает и одновременно растворяет их в своем теле. Именно повседневный дискурс проверяет на выживаемость тематические дискурсы, оценивает их значимость и выстраивает их иерархию. Повседневный дискурс в своей доминанте может быть интерперсональным и ситуативным, а также, как правило, легко и ощутимо транспонируется в дискурсные практики субкультурного и институционального характера.

Остаются еще дискурсы культуры, которую называют высокой и которую достаточно условно делят на духовную и художественную (которая при этом мыслится, тем не менее, внутри духовной). К таким дискурсам относятся, с одной («духовной») стороны, этический, религиозный, философский и другие подобные дискурсы, с другой стороны, эстетический дискурс художественного, реализуемый как в вербальных формах художественной образности, так и в невербальных.

Одной из особенностей данных дискурсов является их достаточно устойчивая связь с соответствующими социальными институтами. Особенно это характерно для религиозного дискурса, так что порой возникает желание (и достаточные основания) говорить о двух, пусть и взаимосвязанных, но различных дискурсах – дискурсе веры, интерперсональном и собственно персональном (при этом в существенной степени автокоммуникативном), и дискурсе церкви, служебном, институциональном (ср.: [Карасик 1999]). Эстетический дискурс через формы осуществления художественной образности, а значит, через свои субдискурсы связан с институциональными началами литературы [Гудков, Дубин 1994], театра, музея, концертного зала, оперы, балета, кинематографа, наконец (в наше время), со средствами массовых коммуникаций (пресса, телевидение и интернет).

Вместе с тем данные дискурсы – в своем конкретном воплощении, в произведении как высказывании, обращенном к читателю, слушателю, зрителю (будь то этический или философский трактат, проповедь или молитва, роман или лирическое стихотворение), – сугубо интерперсональны и тем самым преодолевают свою относительную институциональность.

Итак, мы выделили, с одной стороны, типы дискурсов по признаку общности его участников – интерперсональные, ситуативные, субкультурные и институциональные дискурсы, и, с другой стороны, тематические субдискурсы, которые носят структурно подчиненный характер и способны реализовываться в рамках других дискурсов. При этом следует заметить, что дискурсы духовной и художественной культуры весьма основательно разрушают только что построенную типологию своим особым статусом и особым строем функционирования как в обществе в целом, так и в личностной сфере человека. Таким образом, первичные конститутивные признаки дискурса не находятся на одной плоскости и не носят универсального характера, и поэтому наша «кособокая» типология наверняка разочарует сторонников одномерно-симметричных и претендующих на универсальность классификаций. В порядке оправдания можно сказать только одно: по мере аналитического движения по материалу данная типология будет уточняться и совершенствоваться, с учетом того, что сам дискурс – это феномен исключительно многомерный в своем функционировании и многофакторный в своей природе.

Интертекстуальность vs интердискурсивность. Текст – как двойник высказывания, как живая память о нем – репрезентирует высказывание в письменных дискурсах. Верно и другое: будучи явленным в письме, в печати, текст репрезентирует и дискурс как таковой, тот дискурс, который вызвал к жизни (т.е. к *высказыванию*, в буквальном смысле этого слова) и самый текст. Верно и третье: всякий текст полиморфен в дискурсном отношении постольку, поскольку невозможно произвести высказывание в рамках только одного и абсолютно чистого, однородного дискурса. Всякий дискурс – в силу того, что существует и функционирует в системе других дискурсов – отражает в своем «телесном» составе, в репертуаре своих, в том числе возможных, высказываний, – другие и многие дискурсы, и следы этих отражений мы обнаруживаем в текстах (ср.: [Пешё 1999: С.267-268; Зенкин 2000: 65-66]).

Можно утверждать: чем более высокую позицию занимает дискурс в социальной и культурной иерархии, чем более сложен он по своему существу и

составу, в своих стратегиях, тематике, в своей интенциональности и текстуальности, тем более широкий спектр других дискурсов, в том числе первичных и «низших», начиная от обыденных, он отражает – и несет в себе их текстовые следы.

И дело здесь не только в явлениях интертекстуальности как скрытой или явной отсылки одного текста к другому тексту. Сами дискурсы, как таковые, могут встречаться, пересекаться и взаимодействовать в границах единого текста.

Так обстоит дело, в частности, в литературе, которая интенсивно взаимодействует с дискурсами, расположенными вне поля художественного языка, – в том числе с дискурсом религиозным, философским, историософским, научным, публицистическим, документальным и др.

Наиболее характерна такая ситуация для литератур средневековья, полидискурсивных – и интердискурсивных – по своей природе. В частности, именно этой базовой характеристике древнерусской литературы отвечает известная формула Д.С. Лихачева об «анфиладном построении» произведения в литературе Древней Руси. Ученый писал о «распространенности в древнерусской литературе компиляций, сводов, соединения и нанизывания сюжетов – иногда чисто механического. Произведения часто механически соединялись друг с другом, как соединялись в одну анфиладу отдельные помещения» [Лихачев 1979: 253]. Ученый связывал принцип «анфилады» с проблемой границ произведения и самого его статуса в древнерусской литературе. «Понятие произведения, – писал Д.С. Лихачев, – было более сложно в средневековой литературе, чем в новой. Произведение – это и летопись, и входящие в летопись отдельные повести, жития, послания. Это и житие, и отдельные описания чудес, «похвалы», песнопения, которые в это житие входят. Поэтому отдельные части произведения могли принадлежать разным жанрам» [Лихачев 1984: 75]. Все это означает, что произведение в литературе Древней Руси было *нецелостным*, оно было разомкнутым, открытым – и на уровне текста, и на уровне жанра, и, наконец, на уровне дискурса, – открытым в мир всей рукописной традиции, носящей в целом полидискурсивный характер.

Для литературы нового времени полидискурсивность и интердискурсивность не менее характерны, особенно в острые, кризисные, переходные моменты, – однако воспринимать эту ситуацию сочетания и взаимодействия дискурсов в литературном тексте мешает классическая парадигма эстетики об особой сущности искусства и литературы, а также парадигма современной теоретической поэтики, задающая представления о целостности литературного произведения, с одной стороны, и уникальности и обособленности художественного языка литературы в целом (ср.: [Греймас, Курте 1983: 514-515]).

Один из самых характерных примеров равноправного взаимодействия в литературном тексте различных дискурсов представлен в творчестве Л.Н. Толстого: имеется в виду широко и различно интерпретированное сочетание художественного и историософского дискурсов в романе «Война и мир». Другой не менее характерный пример – сцена чтения Сонеи Мармеладовой Раскольникову евангельского текста в «Преступлении и наказании». Наличие в текстах произведений субтекстов нехудожественной дискурсивной природы в обоих случаях не сводится к явлениям сюжетно обусловленной иерар-

хии текстов или сюжетного цитирования: перед нами прямое пересечение и семантически продуктивное слияние различных в своей природе дискурсов – художественно-эстетического, с одной стороны, и историософского и евангелического (религиозного), с другой стороны. Приведенные примеры хорошо известны, и их можно продолжать: свои сложные совмещения и взаимодействия различных дискурсов представляют «Обрыв» И.А. Гончарова, «Братья Карамазовы» Ф.М. Достоевского, «Мастер и Маргарита» М.А. Булгакова, «Дар» В.В. Набокова, многие произведения современных писателей. В принципе, вся русская литература пронизана такими явлениями, они во многом определяют ее собственную специфику и выступают внутренним (и, как правило, научно не отрефлектированным) основанием для различных рассуждений о ее религиозности, философичности, особенной духовности, над-, не- и вне-литературности и т.п. Особенно явными становятся связи художественного и внелитературных дискурсов в литературе XX века, в революционную и советскую эпоху, а также в постсоветское время социальных сдвигов и переходов.

II

Интердискурсивность в журналистике. Совершенно очевидно, что в современной журналистике (и особенно российской) существуют два полюса. Один из них – это собственно журналистика (как духовно-публицистическая деятельность, в рамках которой журналист – это полнокровный автор и писатель, нередко при этом совмещающий журналистику с авторством в художественной литературе или литературной критике). Этот полюс традиционен для российской традиции развития журналистики, и корни его уходят в публицистическое начало литературы русского средневековья и в просветительскую публицистику XVIII века. Другой полюс – это деятельность современных *средств массовой информации*, которые предстают как фабрика производства и распространения общественно значимой информации, и в которых работают скорее не авторы, а технологи дискурсов – новостного, рекламного, развлекательного, политического и др. При этом оба полюса не разделены, они пересекаются и интенсивно взаимодействуют.

Соответственно, два полюса можно выделить и в журналистском дискурсе – в терминологии В.И. Карасика [2000] – полюс *интерперсональности* (и собственно персональности), соотносящийся с публицистическим творчеством журналиста-автора, и полюс *институциональности*, соотносящийся с различными аспектами деятельности СМИ. Очевидно, что и адресат журналистского дискурса на разных его полюсах предстает в различных дискурсных ролях: вдумчивого и чуткого читателя-собеседника – и потребителя информации, определенная порция которой входит в его утреннее меню наряду с бутербродом и кофе.

Другое важное свойство журналистского дискурса состоит в том, что он по ходу своего осуществления максимально вбирает в себя многие и многие первичные дискурсы – первичные по отношению к сообщаемой им информации или к высказываемому мнению и позиции. В наиболее тесные отношения журналистский дискурс вступает с политическим и рекламным дискурсами (которые активно взаимодействуют и между собой на поле политической рек-

ламы), поскольку и тот, и другой непосредственно опираются на средства массовой информации. Однако журналистский дискурс охватывает и частично поглощает их, поскольку средства массовой информации являются его и именно его институциональным началом. Весьма ощутима «поглощающая» стратегия (и энергия) журналистского дискурса и по отношению к ряду других первичных дискурсов – образовательному, научному, религиозному, литературно-художественному и литературно-критическому (что подтверждается существованием различных специализированных изданий), с одной стороны, и повседневному, обывательски-идиллическому, массово и примитивно развлекательному, бульварно-скандальному и порнографическому, с другой стороны. В общем, если не любить журналистский дискурс, то можно сказать, что он паразитирует на других дискурсах. А если любить – то можно констатировать, что это высший по отношению к другим дискурс. Оба мнения слишком остры, и поэтому не могут иметь отношения к нашим рассуждениям.

Дело заключается в другом: интенсивные взаимодействия журналистского дискурса с другими дискурсами, а также его внутренние напряженные и порой конфликтные взаимодействия интерперсонального и институционального начала происходят *на поле текста* и *в пространстве текстов* газет и журналов, теле- и радиопередач. Иными словами, в коммуникативном пространстве современного общества именно журналистский текст становится зоной максимальной интердискурсивности. Именно этот проблемный поворот вызывает исключительный исследовательский интерес и побуждает к анализу журналистского, и в частности газетного текста – в системе дискурсных взаимодействий.

Текст в системе дискурсных взаимодействий. Сформулируем, таким образом, исследовательскую задачу. Мы ставим своей целью не анализ собственно текста (что увело бы нас либо в область лингвистики текста, либо в сферу поэтики), и не анализ собственно дискурса (что обязало бы нас капитальным образом интегрировать нашу работу в контекст фундаментальных исследований дискурса). Наша цель – это анализ текста в системе дискурсных взаимодействий. Таким образом, наш угол зрения заключается в исследовании отношения текста к дискурсу, и при этом отношения конкретного текста (точнее, ансамбля текстов) к системе определенных дискурсов.

Материалом анализа выступит один из недавних (в соотнесении со временем написания этой статьи) номеров газеты «Комсомольская правда». Можно сказать – это один номер, и этого мало (по крайней мере, с точки зрения исторического изучения традиции). Между тем, с точки зрения сформулированного выше подхода, этого очень много, потому что это развернутый и многосторонний ансамбль текстов, больших и малых, отвечающих разным дискурсам и различным жанрам, разным коммуникативным стратегиям и различным интенциям, разным аудиториям и различным ожиданиям смысла, и т.д. Более того, это ансамбль текстов, каждый из которых сам является большим или малым пространством взаимодействия дискурсов, – и этот аспект проблемы окажется в центре нашего внимания. И еще: поскольку всякий привходящий дискурс влечет за собой, пусть и в небольшой мере, свою традицию текстов (и в этом, как мы считаем, заключается подлинная природа интертекстуальности), постольку рядом с текстами журналистского дискурса перед нами встанет, с

одной стороны, стихия высказываний повседневного дискурса, а с другой стороны, непростые последовательности текстов письменных дискурсов, в том числе и литературных произведений.

Последнее – почему именно «Комсомольская правда» взята в качестве опорного материала для анализа? Есть какая-то характеристика и адекватность самому времени в этой газете, в ее современном облике, а кроме того, уж очень привлекательным представляется это на глазах превращающееся из формально-дежурного в цинично-абсурдное сочетание двух невообразимых симулякров, ушедших из актуальной идеологии, но продолжающих жить в актуальном дискурсе, – во-первых, «правды» и, во-вторых, всего «комсомольского».

«Картина дня». Объектом анализа выступают газетные материалы, объединенные на с. 2-4 под рубрикой «Картина дня», точнее – их названия во взаимосвязи с их текстами.

Вообще, в случае с «картиной дня» мы имеем дело с метафорическим в своей основе концептом новостного дискурса, имеющим, к тому же, определенную мифологическую подоплеку. Данный концепт отсылает нас к таким понятийным конструкциям, как *сумма существенных событий настоящего времени* (дня, периода, момента и т.д.) и *полнота обзора* – стремящаяся в своем пределе к *полноте образа*. Концепт *картина дня* несет в себе и определенный ценностный компонент: это в целом *хорошая работа*, это результат *добросовестного и непростого труда* журналистов, *постаравшихся раздобыть информацию* обо всем том *важном*, что происходит сейчас в том или ином *масштабе мира* (будь то масштаб международной жизни, политики или культуры страны, города или района, и т.п.). Мифологичность же этого концепта заключается в том, что его *невозможно* реализовать в том совершенном виде, в котором мы *убежденно* его воспринимаем: вместо собственно *картины* в газетах нам обычно предлагают не более чем *фрагменты*, причудливый и достаточно случайный коллаж которых мы и принимаем – потому что *верим* этому – за полноту и целостность образа. В данном плане концепт *картина дня* имеет прямое отношение к такому стержневому мифу современной культуры, как *мир как целое* (заметим, что попытки постмодернизма деконструировать его имели только временный результат, и недавний не только массовый, но и элитарный успех книг о «Гарри Поттере» и кино-эпопеи «Властелин колец» – тех самых *великих повествований* [Лиотар 1998] – достаточно уверенно опровергают эти попытки).

Обратим внимание и на то, что для самих журналистов формула *картина дня* (или, что то же самое, *картина сегодняшнего мира*) – не более, чем привычный штамп, риторический топос, в глубинные семантические слои которого уже никто и не думает вторгаться. Однако здесь-то, в этой привычке к формуле коренится *привычность* дискурса – и, в конечном счете, *власть* дискурса над субъектностью высказывающегося. *Кто*, собственно, в газете *говорит* (*пишет, заявляет*) эти столь значимые слова «картина дня»? Вслед за М. Фуко мы должны сказать: говорит сам дискурс, заявляет субъект дискурса как такового.

Фрагментарность и целостность. Посмотрим, из чего складывается картина дня в версии «Комсомольской правды» от 20 января 2004 года 2-4 на страницах.

Перечислим названия материалов, опубликованных под данной рубрикой (по возможности, в прямой последовательности, как они даны на полосах газеты): «Царь-колокол привезли в Сергиев Посад» (о заново отлитом взамен уничтоженного в 1930 году колоколе); «Генералы пойдут по суд?» (о привлечении к ответственности офицеров, обвиняемых в массовом заболевании новобранцев); «Путин открыл интернет-сайт для детей»; «Бразильцы нашли асимметричный отпечаток пальцев у американцев» (перечень мнений); «Надо ли брать отпечатки пальцев у американцев» (перечень мнений); «Зачем новой Думе столько начальников?» (о количестве думских комитетов); «Франция – для мусульман?!» (о запрете во Франции носить хиджаб в общественных местах); «Американка родила шестерых»; «А в это время в Курске умерло четверо новорожденных»; «В Ираке погиб уже 500-й американец»; «На пенсионные деньги в рулетку не играют» (о пенсионной реформе); «Заявление» (материал кандидата в президенты Сергея Глазьева).

Безусловно, здесь есть попытки связать материалы в сверткесты – об этом говорят оппозитивные пары заголовков «Бразильцы нашли асимметричный отпечаток США» и «Надо ли брать отпечатки пальцев у американцев»; «Американка родила шестерых» и «А в это время в Курске умерло четверо новорожденных» – но можно ли говорить о том, что материалы, расположенные под рубрикой «Картина дня», действительно создают некую картину дня? Несмотря на общую интенцию сомнения, сквозящую в нашем тексте, мы ответим на этот вопрос утвердительно. Причина в том, что тематическая фрагментарность рассматриваемого обзора в известной мере преодолевается, но уже на другом уровне – на уровне дискурсивных взаимодействий. Не углубляясь пока в детальный анализ дискурсивной природы самих текстов, мы можем констатировать, что на уровне материалов как целых, и на уровне заголовков, представляющих данные материалы, и на уровне взаимодействия заголовков и текстов данных материалов возникает своеобразная переключка дискурсов и их смыслообразующее взаимодействие. Проанализируем приведенные в перечне материалы с этой точки зрения.

От официоза до обывательской сенсации. «Царь-колокол»: это с детства впечатанное в память сочетание слов представляет – и до известной степени активизирует – широко разветвленный, капитальный дискурс мифологизированного российского государственно-исторического официоза, явленный в нашей культуре на многих уровнях, во многих жанрах и прецедентных текстах: в картинках и коротеньких повествованиях детских книжек по родной истории, в популярной исторической литературе для так называемого образованного читателя, в разнообразных историко-политических аллюзиях. Заметим, что массовый читатель совершенно не знает о том, что самый большой из колоколов, уничтоженных в 1930 году в Троице-Сергиевой лавре, также по традиции называли «Царем», поэтому данное имя собственное практически однозначно отсылает к знаменитому московскому колоколу. А в исходном дискурсе исторического официоза имя «Царь-колокол», как правило, окружено такими контекстами, которые неявно задают сложный и противоречивый

смысл: его можно выразить формулой: *ожидание возвращения (на назначенное место) и понимание невозможности этого возвращения* (царь-колокол, треснувший при его создании, никогда не будет звучать и «царствовать» на колокольне Ивана Великого). На актуализации этого смысла и играет автор газетного материала: происходит как бы совмещение денотатов: возвращают заново отлитый колокол в лавру, и это – в смысловом пространстве текста – символически компенсирует *невозвращение* кремлевского колокола на свое место.

Подзаголовок статьи очень резко (и весьма характерно для «вавилонского смешения» дискурсов в газете) изменяет дискурсный профиль текста: *«Для того, чтобы протащить его на территорию лавры, понадобилось два тягача, бульдозер и рота ОМОНа»*. Дискурс исторического официоза уступает место дискурсу мелкой обывательской сенсации, так сказать, районного масштаба: *«По маршруту движения приходилось измерять высоту некоторых мостов»; «Колокол в ворота не лез»; «Часам к 8 утра к площади перед лаврой подтянулась рота ОМОНа»; «А к полудню к главным воротам обители подполз трейлер с колоколом»* и т.д. Чтобы компенсировать дискурсное падение текста, автор – осознанно или нет – обильно сдабривает его каким-то весьма ненатуральным церковно-подобным «словесным средством» (другие термины для характеристики стилистических изысков автора не находятся): *«Колокол в ворота не лез. Перекрестившись, реставраторы взяли за расширение главных ворот»; «С Божией помощью, помноженной на три мощных двигателя, сани с «Царем» дрогнули, поползли...»* и т.д. Обратим внимание на интенциональный план текста: автор пытается погрузить текст материала в стихию собственно церковно-православного дискурса (а вместе с тем не хочет терять и ракурс точки зрения удивленного обывателя-зевачи – ведь *«вокруг великана собрался почти весь город»*). Получилось это у автора или нет – не нам судить, а критикам, а нам важно раскрыть дискурсную динамику и коммуникативные стратегии, разворачивающиеся по направлению от заголовка материала к его тексту.

Однако это еще не все. Основной материал сопровождается двумя сопутствующими. Один идет под рубрикой *«Справка “КП”»*, другой – под заголовком *«А как звучит!»*, и оба сообщают о технических и музыкальных характеристиках отлитого колокола. По своему существу эти тексты настраивают тональность дискурса на коммуникативную стратегию *прямого информирования* – они по большей мере просто сообщают о тех или иных подробностях создания уникального колокола и его особенностях.

Таким образом, дискурсный спектр рассмотренного материала простирается от дискурса исторического официоза до дискурса мелкой обывательской сенсации (как мы назвали его выше) и дискурса нейтрального информирования, при этом наблюдаются попытки стилизации всего этого «блюда» под церковно-православный дискурс, как того требует тема.

Дискурс справедливости. Мы слишком углубились в наш анализ – поднимемся на поверхность. Следующий материал – *«Генералы пойдут по суд?»* – проходит под рубрикой *«Возвращаясь к напечатанному»*. Название самой рубрики для журналиста является совершенно затертым клише – для нас же оно несет ключевую информацию о газетном тексте как воплощении

особенного и особым образом функционирующего дискурса. Действительно, газетный дискурс (да и вообще журналистский дискурс как таковой) живет, осуществляется своими *повторениями, возвращениями, актуализациями, информативным достраиванием* уже пройденного, освоенного материала – наряду с обращением к материалу новому, собственно к *новости*, которую этот дискурс также моментально помещает в пространство повторений и возвращений. Пожалуй, никакой другой дискурс не несет столько неявно выраженной информации о самом себе, как дискурс журналистский – нужно только выделять ее из потока привычных фраз.

Итак, «*Генералы пойдут под суд?*». Коммуникативно изящным всегда выглядит заголовок, снабженный вопросительной интенцией и, соответственно, знаком вопроса. С формальной стороны, интенция вопроса слабо согласуется с базовой коммуникативной стратегией газетного заголовка как такового – вводить в тему, служить тематическим или смысловым резюме основного сообщения (текста). Однако на пересечении интенций вопроса и резюме возникает особенный коммуникативный эффект *проблемного заострения* темы материала. Для примера: сравним, что бы получилось, поставь мы *вопрос* к предыдущему заголовку: «*Царь-колокол привезли в Сергиев Посад?*» Сразу изменилась бы интенциональная перспектива всего последующего текста, и он просто обязан был бы выстроиться в общей тональности проблематического заострения темы.

Здесь, собственно, это и происходит. Дискурс, который репрезентирует заголовок рассматриваемого материала, мы бы назвали (достаточно условно, но без тени иронии) *дискурсом справедливости*. Этот дискурс – из разряда тематических, или, говоря точнее, проблемно-тематических и ценностно-тематических (концептных). В российском журналистском дискурсе дискурс справедливости (или более детально: поисков справедливости, констатации отсутствия справедливости или торжества справедливости и т.д.) представлен чрезвычайно широко в тематическом плане и разнообразно в жанровых формах. Бывает и другое: целая газета отдается этому дискурсу в его различных направлениях и поворотах. Пример тому – современная «Советская Россия». К слову сказать, замыкание газеты в рамках одного и единого дискурса противоречит самой природе газеты как ансамбля дискурсов с их разноуровневой иерархией, с их переключкой и разноголосицей.

Дискурс «верхов» и его деконструкция. Следующая грань «картины мира» от 20 января 2004 года развернута под рубрикой «*В верхах*». Перед нами снова дискурсное клише, *преконструкт* [Серио 1999], открывающий для исследователя богатые возможности анализа дискурсных взаимодействий газетного текста. *В верхах* – маркер весьма популярного тематического дискурса, собственно, дискурса *верхов, власть имущих, политической верхушки* (можно заметить, что мы нарочно определяем этот дискурс серией его же клишированный выражений). Подробная характеристика этого дискурса, как и предыдущего, отвлекла бы нас от основной линии этой главы – анализа дискурсных взаимодействий на уровне границ между рубриками, заголовками и текстами газеты.

Собственно материал называется так: «*Путин открыл интернет-сайт для детей*». «Дискурс верхов» совершенно очевидно смешивается здесь с дис-

курсом детства и дискурсом повседневности. Зачем? *Потому что так нужно делать в газете.* Затем, чтобы создать достаточно примитивный эффект легкого комизма (и стоящую за этим стратегию принижающего (или *развенчивающего* – по М.М. Бахтину?) овладения сакральной темой президента). Подзаголовок красноречиво раскрывает коммуникативную стратегию автора: *«Теперь самые любопытные мальчики и девочки могут узнать, кто покупает президенту тапочки и чем глава государства отличается от Деда Мороза».*

Политический дискурс на улице. Переходим к очередному тексту, вернее, блоку текстов, посвященному новым правилам проверки иностранцев на американских границах. Первый из материалов озаглавлен так: *«Бразильцы нашли асимметричный ответ США»* с подзаголовком *«Они посадили в кутузку американского пилота, не пожелавшего сдать на границе отпечатки пальцев».* Текст заголовка достаточно последовательно развертывается как высказывание из репертуара *официального политического дискурса* в его международной функционально-тематической разновидности, и даже опирается на известное дискурсное клише «асимметричный ответ». Ничто пока не обнаруживает сарказм автора. Но вот в подзаголовке проскальзывает словечко *«кутузка»* – вместо нейтральных *«заключение»*, *«тюрьма»* – и коммуникативные намерения автора *снизить тему* (как и в предыдущем случае) становятся весьма очевидными. И дело не только и не просто в стиле – дело в нарочитом *смешении дискурсов*, которое приводит, в том числе, и к смешению стилей. Материал сопровождается антитезисом, выделенным жирным шрифтом: *«Россия же американские требования проглотила безропотно. Неужто смекалки не хватает?»* Официальный политический дискурс оказывается не более чем поводом для развертывания неконтролируемого дискурса повседневности, в рамках которого позволительно *иронизировать, смеяться, унижать, издеваться, даже оскорблять*, – в отличие от дискурсов, так сказать, официального назначения. В соответствии с дискурсной стратегией автора, текст статьи оказывается уже полностью погруженным в стихию повседневного дискурса, и авторская речь уже немногим отличается от того, что можно услышать (и как можно говорить) на городской площади или оживленном рынке.

Центральный материал сопровождается серией соположенных, среди которых выделяется следующий: *«Надо ли брать отпечатки пальцев у американцев?»* Сопровождающая название материала интенция вопроса в данном случае задает интенциональную структуру всего последующего текста – перед нами перечень ответов, раскрывающих мнения общественно интересных и/или компетентных людей (среди которых известный актер, политики, офицер пограничной службы, дипломат). Обратим внимание на то, что эти мнения *частные* – это очень важный момент, связывающий данный текст с дискурсом предыдущей статьи о бразильцах. Несмотря на откровенно площадные, даже базарные очертания коммуникативного формата этого дискурса, именно он продолжает себя в сглаженной речи ответов политиков и дипломатов – потому что эти ответы раскрывают *частные мнения*, как их можно сформулировать и услышать в уличном опросе. Именно улица как пространство повседневного дискурса продолжает себя в этих ответах – и уличный характер речи там и тут прорывается наружу: *«... мы должны пойти дальше и брать отпечатки не только рук, но и носов. И прочих частей тела – так, на всякий случай»;* *«... у*

американцев есть деньги на подобное нововведение, а у нас нет. Вот и будем опять без итанов, но с отпечатками».

И еще два небольших материала на данную тему. Первый называется «Вне подозрений» и содержит перечень стран, «гражданам которых разрешен безвизовый въезд в США и от которых отпечатков пальцев не требуют». В списке изрядное количество позиций, и материал выполняет преимущественно информативную функцию как таковую – хотя и здесь глаза мозолят все те же «отпечатки пальцев». Второй дается под рубрикой «Интернет-конференция “КП”» и приглашает читателей задавать вопросы на тему «визовой политики США в отношении граждан России». Это текст также выстроен в поле интенции прямого информирования.

Еще о дискурсе «верхов». Другая тематическая доминанта дискурса «верхов» выражается формулой «номенклатуры». Именно так называется рубрика, под которой проходит материал с заголовком «Зачем новой Думе столько начальников?» и подзаголовком «По числу всяких руководителей российский парламент – первый в мире». Как и в материале о добром президенте, данный текст строится на совмещении двух очень различных дискурсов: основного – собственно политического дискурса с ярко выраженным элементом полемики (что отражено в названии материала и собственно рубрики) – и улично-сварливого, как бы спровоцированного в своем появлении моментом полемики и отвечающего общему полемическому тону соответствующими словечками: «всякие руководители»; «новоиспеченная Госдума»; «секретарша». При этом особенный привкус канцелярщины придают сложносокращенные слова, частично взятые из «деревянного» языка государственных чиновников – т.е. из собственного дискурса «номенклатуры» – а частично, по-видимому, придуманные автором – «госдума», «политбури».

Где прячется советский дискурс? Перебираемся на четвертую страницу. Под рубрикой «Протесты» мы встречаемся с текстом, озаглавленным «Франция – для мусульман?!» (о запрете во Франции носить хиджаб в общественных местах), при этом сопутствующее фото (на нем изображены митингующие мусульманки) сопровождается фразой «Неверным французам – наш смертный бой?!» В обоих случаях – подчеркнем – вопросительный и восклицательный знаки вместе. Ну и подзаголовок – «Хиджаб в Париже превратился в знамя».

«Протест»; «власти»; «повышенные меры безопасности»; «наш смертный бой»; «знамя»; «митинги»; «демонстрации»; «мишень номер один» – уж очень знакомы эти словечки в таком их сочетании! Любопытное дело – советской страны и соответствующей политической и общественной системы нет, идеологии, вроде бы, тоже нет, а вот советский дискурс живет, и продолжает воспроизводить себя то там, то здесь. Мы имеем в виду даже не коммунистические газеты, дискурс которых правилен и прост, как пареная репа, а вот такие амбивалентные, как «Комсомольская правда» (хотя, может, название обязывает?). Это особенная и крайне интересная проблема – изучить, где прячется и как мимикрирует советский дискурс в современном коммуникативном пространстве. Вернемся к ней в другой раз. Здесь же добавим, что собственный дискурс этой статейки, очевидно, является информативно-политическим, с явным желанием автора парадоксально перевернуть многие клише этого дискур-

са: «Франция – для мусульман» (на фоне известного «Франция – французам»); или: «Франция с ее традиционным лозунгом «Свобода, равенство, братство» сегодня стала мишенью номер один для тех, кто любит порассуждать о религиозной нетерпимости». Обращает на себя внимание попытка автора материала развернуть его как интригу. Текст начинается словами: «Минувиую субботу Париж встретил в состоянии раздраженном. Повышенные меры безопасности всегда нервируют, а в этот день на улицы французской столицы, похоже, высыпали все полицейские города. Источником страха для властей оказались... женщины». Чем не начало политического детектива? Подчеркнем: многоотчие не мы придумали, оно в самом тексте. В принципе, можно говорить о беллетристическом дискурсе-изгое, или дискурсе беллетризации, в таком примитивном виде из литературы уже исключенном, но обосновавшемся в журналистском тексте.

Сенсация в поле дискурса «болезненного сравнения». «Американка родила шестерых» – «А в это время в Курске умерло четверо новорожденных». Все это вместе под рубрикой «Рекорды». С этикой у «Комсомолки», как у всякой газеты, порой бывает туговато. Но не стоит упрекать в этом газету и ее авторов – виноват, если так можно выразиться, сам газетный дискурс, по необходимости своего площадно-уличного, полубеспорядочного существования вынужденный не церемониться в выражениях – правда, пока не поколотят. Это ведь, к примеру, не бюрократический дискурс, прочно обосновавшийся в присутственных местах, осевший слоем пыли на стандартной мебели, застывший в отблесках очков должностных лиц, вросший в содержимое папок с делами. Это дискурс таблоида, обращенный к улице, продающийся на улице, исчезающий и ежедневно возрождающийся в своем непрочном газетном теле. Постоянно возникающие конфликты газеты и общества на этической почве – это конфликты дискурсов, а не только людей, вовлеченных в производство этих дискурсов. Или, по Р. Барту, это «война языков». Данная точка зрения, конечно же, грешит максимализмом, но мы делаем это специально, чтобы обострить саму проблему – проблему ответственности дискурса как такового.

Первый материал из этой связки развернут в поле дискурса сенсаций. Вообще сенсацию можно определить в рамках одной из характерных коммуникативной стратегии средств массовой информации: это установка на изложение определенного момента происходящего как события из ряда вон выходящего и тем самым привлекающего внимание, или такого событий, которое в общем плане давно ожидается и к которому уже привлечено общественное внимание.

Однако, оказываясь в связке с последующим текстом, данный материал обретает дополнительное интердискурсивное звучание – он попадает в поле общего для обоих текстов дискурса «болезненного сравнения» – «как у них и как у нас», весьма характерного для современного российского менталитета. «У них» – все хорошо, «у нас» – если и не плохо, то все равно как-то криво. Сопоставим еще раз: «Американка родила шестерых» с подзаголовком «За полторы недели» – «А в это время: У Курске умерли четверо новорожденных». Можно не вдаваться в детали (и лучше не вдаваться, а то выяснится, что «Врачи квалифицируют их (американских новорожденных – И.С.) состояние как критическое, хотя считают, что у близнецов есть шанс выжить», и вся наспех построенная дискурсивная конструкция развалится, как картонный до-

мик. Отвлекаясь от конкретной темы, заметим, что характерной особенностью журналистского дискурса вообще, а новостного в частности, является то, что заголовок материала чрезмерно обостряет тему сообщения, стремится перевести ее в поле острой проблемности или сенсационности. Тем самым общее дискурсное пространство газеты становится наполненным силовыми линиями смыслового напряжения, словно трансформаторная будка.

Частица «уже». Именно так строится заголовок следующего материала: «В Ираке погиб уже 500-й американец». Уберите частицу «уже», и заголовок потеряет необходимую дискурсную остроту, исчезнет требуемое напряжение, и материал останется только тем, чем ему, наверное, и следовало бы быть – не более чем простым информационным сообщением. Однако, чтобы хоть как-нибудь подогреть смысловую остроту, заданную заголовком, автор к завершение материала пускается в обобщения с ссылками на неких «социологов», которые считают, что «критической (для американского общественного мнения – И.С.) может стать цифра в 1 тысячу погибших». Как и в предыдущем случае, здесь налицо авторская стратегия усложнить дискурсную структуру текстов – изначально не более чем прямо и просто информационных – дополнительными дискурсными планами. Здесь это план навязанной сенсационности, совмещенный с планом псевдо-аналитики, в предыдущем материале – план еще более искусственной сенсационности, совмещенный с планом мало уместного морализаторства.

Что такое «здоровый смысл»? В авторской рубрике «Здоровый смысл Евгения Анисимова» развернута статья «На пенсионные деньги в рулетку не играют». Уже в самой формулировке рубрики, с точки зрения того же самого здравого смысла, совмещаются весьма несовместимые моменты, ведь здоровый смысл, осуществленный в суждении, по определению является дискурсом обобществленным, он не может быть персональным. Стратегия *парадоксализации* текста и особенно заголовков не менее характерна для журналистского дискурса, чем стратегия сенсационности. В этом, в свою очередь, заключена своя парадоксальность: журналистский дискурс как таковой призван транслировать в общество им же, обществом, созданные и им же, обществом, востребованные *стереотипы*, потому изначально стремится к воспроизведению «общего мнения», «здравого смысла», в общем, *доксы* (см., в частности, [Пэнто 1996]). С другой стороны, сама дискурсная манера представления доксы в журналистском тексте стремится быть по возможности необычной, вплоть до степени парадоксального (о ментальных и нарративных структурах парадоксального см., в частности, наши работы: [Силантьев 1996 (а); 1996 (б)]). Поэтому универсальную формулу журналистского дискурса можно выразить следующими словами: *рассказать об обычном через необычное*.

Та же авторская интенция парадоксализации заложена и в формулировку самого заголовка материала: «На пенсионные деньги в рулетку не играют». Ну конечно же, не играют! – так и хочется воскликнуть в знак согласия. А потом закрадывается сомнение: если об этом *пишется* (= дискурсивно *утверждается*), то, может быть, играют? – ну, разумеется, в переносном смысле. В результате создается эффект парадоксального совмещения смысловых противоположностей, что и требовалось.

«Заявление» о «просьбе» с «призывом». И завершает «картину дня» с виду непритязательный, но достаточно занимательный в своей интенциональной структуре образчик предвыборного политического дискурса – «Заявление» кандидата в президенты Сергея Глазьева, в котором тот, ссылаясь на «кризис в России», просит «честным рублем» поддержать его избирательную кампанию (с приложением реквизитов избирательного счета кандидата в президенты). Обратим внимание: не обращение, не призыв, не просьба, а *заявление* – и это при том, что небогатый комплекс коммуникативных интенций данного текста сводится именно к *обращению* (к «Дорогим соотечественникам»), *призыву* («Нам нельзя упускать шанс мирного выхода из кризисной ситуации...») и *просьбе* («И я прошу вас, сограждане...»). Нечто определенно бюрократическое сквозит в дискурсной природе заголовка – но даже не в этом дело. Наиболее нейтральная форма интенциональности текста – *заявление* – выбрана в качестве заголовка текста, на наш взгляд, затем, чтобы по возможности скрыть действительные интенции текста. Сравните: кандидат в президенты *заявляет* – и кандидат в президенты *просит*. Выигрышность первой дискурсной позиции по сравнению со второй вполне очевидна.

III

Преодоление тематической фрагментарности. Подведем некоторые итоги анализа дискурсной структуры содержимого супер-рубрики «Картина дня» (2-4-я страницы газеты). Напомним при этом, что мы старались по возможности не углубляться в специальный дискурсный анализ собственно *текстов* представленных на указанных страницах материалов, оставаясь преимущественно на уровне внутренних *рубрик* и *заголовков* этих материалов.

Наш исходный тезис был непоправимо противоречивым: мы утверждали, что материалы, расположенные в «Комсомольской правде» под рубрикой «Картина дня», разрозненны, фрагментарны и центробежны – и в то же время создают некую единую *картину мира*. Причина кроется в двойственности самого феномена газетного текста, который в рамках *сегодняшнего дня* выступает в статусе *актуального высказывания*, а значит, имеет непосредственные, живые связи с питающими его *дискурсами*. Именно в силу этого неизбежная тематическая фрагментарность ансамбля газетных текстов (ведь газета – это не энциклопедия) преодолевается через достаточную полноту спектра дискурсов и через разнообразие дискурсных взаимодействий, возникающих не только собственно в текстах газетных материалов, а уже на «верхнем» уровне рубрик и заголовков. Каковы же эти дискурсы?

Порядок дискурсов. В первую очередь, это дискурс *нейтрального информирования* – тот, который, казалось бы, является основным для средств массовой информации. Как было бы просто, если бы газетный текст ограничивался только данным дискурсом. И как это было бы однообразно и скучно, а главное, какое опустошающий, выхолащивающий эффект такая газеты производила бы в коммуникативном пространстве общества. Ведь именно газеты (и средства массовой информации в целом) своей дискурсной полнотой и даже избыточностью в определенном смысле компенсируют неполноту дискурсного репертуара обывателя или узкого специалиста, каковыми все мы, в большин-

стве своем, и являемся. Поэтому можно говорить о том, что средства массовой информации необходимы обществу не только с точки зрения потребностей в информации, но и с точки зрения наполнения коммуникативного пространства дискурсами. Или суррогатами дискурсов? Здесь заключена серьезная проблема. Можно не ходить в театр и читать вычурные заметки о театре в воскресных газетах. Можно не читать художественную литературу и довольствоваться снобскими размышлениями о литературе, высказываемыми в телепередачах. Наконец, можно (и, очевидно, нужно) не обращаться в маргинальных слоях общества (криминал, бомжи, богема и др.) и с любопытством читать о них (и самое главное – *усваивать их дискурсные практики*) в то же самой «Комсомольской правде». Итак, что же поставляют нам средства массовой информации вместе с собственно информацией – дискурсы или суррогаты дискурсов? На этот вопрос еще предстоит ответить, пока же вернемся к суммированию и систематизации первоначальных наблюдений.

Вполне очевидно, что выявленные выше дискурсы выстраиваются в определенную иерархию. В ее основании, «внизу», находится универсальный *дискурс повседневности* – мы неоднократно замечали его присутствие в газетном тексте даже на уровне рубрик и заголовков. Он может являться и без видимой причины – просто потому, что тональность непосредственного разговора «на ты» по определению свойственна газете, или затем, чтобы ткнуть пальцем («Вон, смотри!») или «Эй, смотрите!»), или затем, чтобы что-то или кого-то осмеять или унижить.

Дискурс «здорового смысла», отмеченный нами в одном из текстов, как таковой частично входит в повседневный дискурс (куда же без здравого смысла и соответствующих высказываний в обыденной жизни!), и частично входит в высокоорганизованные дискурсы воспитания и образования, литературы и науки.

Совсем близко к повседневному дискурсу расположен и *дискурс сенсации* (в масштабном виде он практически полностью принадлежит средствам массовой информации, а в мелочах – все тому же повседневному дискурсу в качестве его органической части («Слыхали? Видели? Пойдем, поглядим»). Субдискурс мелкой обывательской сенсации в рамках повседневного потока общения еще можно назвать *дискурсом слухов*.

Частично входит в поле повседневного дискурса и *дискурс справедливости* – когда он проявляется в частных разговорах, мнениях и суждениях (известное: «Что хотят, то и делают!»). И тот же дискурс становится неотъемлемой частью журналистского и многих других публичных дискурсов в форме общественно востребованных рассуждений о справедливости, поиска и требований справедливости и т.п.

С дискурсом справедливости соседствует и *дискурс «болезненного сравнения»* («Как у них все хорошо и как у нас все плохо и никуда не годится!»). Снова мы видим ситуацию двойного вхождения данного дискурса – в повседневный дискурс и в публичные дискурсы, и прежде всего в журналистский дискурс.

В общем виде, ситуация двойного вхождения, как мы ее назвали, оказывается возможной, потому что рассмотренные субдискурсы – здравого смысла, сенсации, справедливости, ревнивого сравнения – являются в большей степени

тематическими, или, более точно, *проблемно-ценностно-тематическими*, они вырастают вокруг определенного концепта или группы концептов, и поэтому способны входить в структуру дискурсов, квалифицируемых по более общим свойствам своего функционирования в социуме (*повседневность, приватность, публичность* и др.).

Аналогичную позицию двойного отношения к повседневному дискурсу и к дискурсу средств массовой информации занимает тематический *дискурс «верхов, власть имущих, политической верхушки, номенклатуры»*, тесно пересекающийся в его традиционной российской версии с дискурсом справедливости, точнее, *несправедливости («Все начальники неправы и нечестны», «Наверху правды нет»* и и.п.).

Сделанные наблюдения также показывают, что журналистский дискурс самыми крепкими отношениями – как таковой и через проблемно-тематические субдискурсы – связан с дискурсом повседневного общения.

В дискурсе повседневного общения, а вслед за ним и в журналистский дискурс вкраплен и базовый дискурс недавнего прошлого нашего общества, достаточно условно названный нами *советским дискурсом*. Если в отношении приведенных выше тематических дискурсов можно говорить о том, что они первоначально формируются в повседневном общении, а затем также развиваются в тех или иных специализированных средах общения, то у советского дискурса обратная судьба: от партийного съезда, от официального направляющего документа, от речи политического обозревателя и передовицы в центральной газете – в речь литературно-художественную, публично-политическую, газетно-публицистическую и повседневную. И если в современной литературе «деревянный язык» деконструирован дискурсом постмодернизма [Шатин 2003], если из бытового общения этот дискурс постепенно уходит вместе с людскими привычками «выражаться» и самими людьми, если в публичной политике он стал легко и персонально узнаваем (Зюганов, Харитонов и т.д.) и поэтому безобиден и формален, то газета остается его последним убежищем, последним полем, на котором этот дискурс способен, как вирус, заражать тексты и целые пространства текстов. Понятно, что мы не имеем в виду собственно коммунистические газеты, которые и не газеты вовсе, поскольку практически полностью развернуты в пространстве агитационно-политического дискурса как такового, т.е. это не более чем периодические агитационные материалы.

Следующий самостоятельный в своей практике дискурс, не связанный непосредственно с традициями повседневного общения, – *дискурс политический*, который в рассмотренных выше текстах проявил себя, как минимум, в трех разновидностях – это дискурс политического официоза, предвыборный дискурс и публичный политический дискурс с ярко выраженными коммуникативными стратегиями полемики. Здесь нет необходимости в детальной характеристике политического дискурса (см. об этом, например, недавний сборник: [Политическая наука. Политический дискурс: История и современные исследования, 2002]).

Следующая группа включает в себя *дискурс российского государственного официоза, бюрократический дискурс и церковно-православный дискурс*. Их объединяет своего рода культурная *выделанность* (пусть даже это звучит

тавтологично), приподнятость над сферой повседневного общения и его дискурсов. Это институциональные дискурсы в полном смысле этого термина, и вместе с тем они имеют прямое отношение к системе дискурсов культуры: первый погружен в традиционные темы и ценности *высокой* русской истории, второй отражает культуру российской документалистики, третий олицетворяет собой российскую церковно-православную культуру.

И замыкает ряд последний дискурс – как мы его назвали, *беллетристический дискурс*, или *дискурс интриги*. Коммуникативная стратегия этого дискурса заключается в том, чтобы внести интригу в излагаемую историю, выстроить ее компоненты таким образом, чтобы между ними возникло напряженное смысловое противоречие, т.е. *сюжетные отношения* в собственном смысле этого слова [Силантьев 2003]. Дискурс интриги преимущественно взаимодействует с *нарративным*, или *повествовательным* дискурсом как таковым (с рассказыванием историй), но иногда сочетается и с риторически организованными дискурсами и жанрами, такими как *заявление*, *воззвание*, *обращение* и др.; его организующие элементы можно встретить и в журналистской аналитике, – словом, везде, где требуется внести в текст смысловое противоречие путем сопоставления различных сторон этого текста.

Итак, мы рассмотрели дискурсы, выявленные в результате первичного анализа текстов (и в первую очередь их заголовков), объединенных в газете «Комсомольская правда» за 20 января 2004 года под супер-рубрикой «Картина дня» на 2-4 страницах. Спектр выявленных дискурсов весьма широк и основательно вторгается в три основные дискурсные сферы коммуникативной деятельности общества – в повседневность, социальные институты и культуру. Это позволяет говорить о принципиальной дискурсной полноте газетного текста и, далее, утверждать, что газета как таковая существенна не только как носитель новостей, мнений и оценок происходящего, но и как среда дискурсных взаимодействий, приобщаясь к которой, читатель обретает необходимую для себя полноту и многомерность коммуникативного пространства – ту полноту, которую просто невозможно обрести в собственной жизненной деятельности, по определению частной и фрагментарной.

Литература

Арутюнов А.Р., Чеботарев П.Г. Справочник «Интенции диалогического общения и их стандартные реализации» (Проект «Банки методических данных»: каталог коммуникативных единиц, интенции) // Русский язык за рубежом. 1993. № 5-6. С.75-82.

Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1979.

Витгенштейн Л. Философские исследования // Философские работы. М., 1994. Ч. 1.

Гойхман О.Я., Надеина Т.М. Основы речевой коммуникации. М., 1997.

Греймас А.-Ж., Курте Ж. Семиотика. Объяснительный словарь теории языка // Семиотика. М., 1983. С.483-550.

Гудков Л.Д., Дубин Б.В. Литература как социальный институт. М., 1994.

Демьянков В.З. Политический дискурс как предмет политологической филологии // Политическая наука. Политический дискурс: История и современные исследования. М.: ИНИОН РАН, 2002. № 3. С.32-43.

- Зенкин С.Н. Введение в литературоведение: Теория литературы. М., 2000.
- Карасик В.И. Религиозный дискурс // Языковая личность: проблемы лингвокультурологии и функциональной семантики. Волгоград, 1999. С. 5-19.
- Карасик В.И. О типах дискурса // Языковая личность: институциональный и персональный дискурс. Волгоград, 2000. С. 5-20.
- Кузнецов И.В. Проблема жанра и теория коммуникативных стратегий нарратива // Критика и семиотика. Новосибирск, 2002. Вып. 5. С. 61-70.
- Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. М.; СПб., 1998.
- Лихачев Д.С. Поэтика древнерусской литературы. М., 1979.
- Лихачев Д.С. Развитие русской литературы X-XVII веков // Избранные работы: В 3 т. М., 1984. Т.1.
- Макаров М.Л. Основы теории дискурса. М., 2003.
- Пешё М. Прописные истины. Лингвистика, семантика, философия // Квадратура смысла. М., 1999. С.225-290.
- Политическая наука. Политический дискурс: История и современные исследования. М.: ИНИОН РАН, 2002. № 3.
- Пэнто Л. Интеллектуальная докса // Socio-Logos'96. Альманах Российско-французского центра социологических исследований Института социологии Российской Академии наук. М., 1996. С. 32-38.
- Руднев В. Винни Пух и философия обыденного языка. М., 2000.
- Серио П. Русский язык и анализ советского политического дискурса: анализ номинализаций // Квадратура смысла. М., 1999. С.227-383.
- Силантьев И.В. Парадоксальное // Дискурс – 2'96. Новосибирск, 1996 (а). С.108-110.
- Силантьев И.В. Парадокс в системе средневекового литературного сюжета // Материалы к словарю сюжетов и мотивов русской литературы: От сюжета к мотиву. Новосибирск, 1996 (б). С.64-76.
- Силантьев И.В. О некоторых теоретических основаниях словарной работы в сфере сюжетов и мотивов // Словарь-указатель сюжетов и мотивов русской литературы. Новосибирск, 2003. С.160-169.
- Слово в действии: Интент-анализ политического дискурса / Под ред. Т.Н. Ушаковой, Н.Д. Павловой. СПб., 2000.
- Стросон П.Ф. Намерение и конвенция в речевых актах // Новое в зарубежной лингвистике. М., 1986. Вып. XVII. С.151-170.
- Тодоров Ц. Понятие литературы // Семиотика. М., 1983. С. 355-369.
- Тюпа В.И. Прологомены к теории эстетического дискурса // Дискурс – 2/96. Новосибирск, 1996. С.12-15.
- Тюпа В.И. Очерк современной нарратологии // Критика и семиотика. Новосибирск, 2002. Вып. 5. С.5-31.
- Чепкина Э.В. Русский журналистский дискурс: текстопорождающие практики и коды. Екатеринбург, 2000.
- Шатин Ю.В. Политический миф и его художественная деконструкция // Критика и семиотика – 6' 2003. Новосибирск, 2003. С.67-78.
- Янко Т.Е. Коммуникативные стратегии русской речи. М., 2001.